

СВЕТ И БЛЕСК ДОСТОЕВСКОГО

Доктор филологических наук Иван ПЫРКОВ.

... Не ближний край Божедомка. С притонами и трущобами, с неприглядными лачугами. Окраина, или, как иной герой Достоевского бы мог сказать, «ветошка». Облетает на осеннем ветру Марьяна роцца. Бедовая ли голова разбойничья покатится, бродяга ли сочтёт свои дни, самоубивец ли с жизнью сочтётся — всем сюда в Марьину, на кладбище для изгоев и пропащих дорога. С XV-го ещё века тянулась печальная традиция: опальных, безродных, бездомных, иноверцев, кодунов хоронили здесь, на окраине, служители Убого дома, метко нарекли в народе которых «божедомами»...

Но не об умирании разговор — о рождении. Поздней осенью, в казённой московской квартире, в правом флигеле Мариинской больницы, по адресу Новая Божедомка, 2, у четы Достоевских, Михаила Андреевича и Марии Фёдоровны (урождённой Нечаевой), родился второй ребёнок — Фёдор. Здесь, в Мариинской больнице для бедных, работал с 1821 по 1837 годы штаб-лекарь Михаил Андреевич Достоевский, отец большого семейства. Четверых сыновей и четырёх дочерей родила ему Мария Фёдоровна: Михаила, Фёдора, Варвару, Андрея, Веру, Николая, Александру. Была ещё Любовь, близнец Веры, но не прожила она и месяца...

А любовь в семье Достоевских — долго ли жила, долго ли теплилась? И наконец — была ли когда-то? И что она такое, любовь? Трудный вопрос, один из тех, что принято называть в достоевистике «проклятыми». Однако ж не отмахнуться от него, не умолчать о его первозначности. Сам писатель, кажется, вспоминает о любви в семейном кругу без каких-либо оговорок: *«Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей...»*.

Но с Достоевским никогда так просто не бывает, рядом со светом таится тень. Иначе почему тогда Фёдор Михайлович с юных лет уже привычно обрывал вопросы

об отце? Как вспоминает С. Д. Яновский, друг Фёдора Достоевского: *«Об отце он решительно не любил говорить и просил о нём не спрашивать»*.

Отец... Вот он гуляет с сыновьями по Марьиной роцце и расспрашивает про геометрию, про острые и тупые углы, про кривые... Вот он говорит за семейным обедом, что видеть образованными своих детей — главная его мечта, сбудется она, и помереть спокойно можно... Вот он целует сыновей и дочерей, обрадованный на именинах их трогательным поздравлением... А вот, после возвращения из Палаты, то есть из больницы, за вечерним чаем читает для семьи вслух — в доме есть большая библиотека...

Многое повидал он, лечил раненых во время войны 1812 года, боролся с тифом и спас не одну жизнь. Головинский военный госпиталь, Касимвовский, Бородинский пехотный полк... Умелый врач — не зря же окончил московское отделение Медико-хирургической академии. Просвещённый человек — не ради же забавы читал детям карамзинскую «Историю государства Российского» и пушкинские стихи. «...быть тебе под красной шапкой!» — восклицал Михаил Андреевич, когда сын Фёдор слишком шалил. Под «красную шапку» — значит, в солдаты, иносказательно — попасть в переделку, в историю...

Глава семьи любил жену и детей безмерно, многое делал, чтобы домочадцы были счастливы, и в то же время в душе его что-то было надломлено. *«Странный характер!»* — писал Ф. М. Достоевский брату Михаилу. — *Ах, сколько несчастий перенёс он»*.

Да, это правда. Уже в четырнадцать покинул он отчий дом в селе Войтовцы Подольской губернии, и более никогда не возвращался к родным истокам. В чужой Москве пришлось рассчитывать только на себя. И какой же радостью стала для него женитьба на Марии Фёдоровне, купеческой дочери, умнице. Всё у неё, натуры музыкальной, ок-



*Ф. М. Достоевский.
Карандашный набросок работы К. А. Трутовского.
1847 год.*

рылённой, ладилось в руках, всё пело. И всё стало складываться у Михаила Андреевича: чин коллежского асессора, пожалованный за безупречную службу, позволил ему получить право на потомственное дворянство. И было обретено — пусть самое небольшое и малоодоходное — имение Даровое в Тульской губернии. Улыбались беззаботные летние деньки, когда счастливые Михаил Андреевич и Мария Фёдоровна приезжали на месяц-другой с детьми в полюбившееся имение. А как не стало жены — мир погрузился в траур. Как будто судьба Достоевского-отца была написана на «скорбном листе», наподобие тех медицинских бумаг в Марининской больнице, с определением болезни на латыни или немецком.

Но и раньше ещё, до безвременной смерти жены, Михаил Андреевич бывал деспотичным, а то и подозрительным. Болезненно. 31 мая 1835 года Мария Фёдоровна, с присущей ей нежностью и деликатностью, сквозь которые прорывается всё же крик отчаянья, взывает к здравомыслию мужа в письме: «...Клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землёю, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему, перед святым алтарём в день нашего брака». Какие глубоко прочувствованные слова, каким живым и деятельным сердцем произнесены они, как будут сильны звуки материнского голоса во всех будущих книгах её сына! И ещё. Так горячо сказать можно было, обращаясь к человеку искренне любимому и не менее искренне любящему. Иначе в каждом звуке сквозил бы холодок равнодушия и отчуждения. А здесь — любовь, истинная любовь. Неразрешимое противоречие, неодолимый душевный разлом, трагедия неисчерпаемая — всё то, без чего немислим гений Достоевского.

Вскоре, в начале 1837-го, Мария Фёдоровна уже не будет выходить из своей полутёмной спальни. И никакие лекарства не спасут её от злой чахотки. Михаил Андреевич уйдёт в отставку, всё ему станет постыло и чуждо в любимом некогда доме, захлопнутся книги, закроются двери, померкнет зрение. Весь мир померкнет! Он, точно бы разочаровавшись в медицинском поприще, навсегда покинет Божедомку и поселится вместе с младшими детьми в имении. Но без

жены, без матери — оно делается чужим и даже враждебным. Неурожаи, конфликты с крестьянами, бессмысленность созидания. А выход, известно, — в зелёной чарке...

Засушливой, суховеяной весной 1839 года Михаил Андреевич напишет Фёдору, в то время ученику Главного инженерного училища в Петербурге, полное горечи и разочарований письмо, отказывая сыну во вспоможении. В каждой строке этой печальной весточки слышится боль, угадывается растерянность перед неумолимой судьбой, преждевременно оборвавшей жизнь его «любезнейшего друга... Машеньки», а значит — и его жизненный путь тоже: *«Теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния <...> Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничего в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы. Жара, ветры ужасные всё погубили. Озимые поля черны <...>».*

Рано повеет бедностью и сиротством, рано окликнет эхо казённых коридоров, рано юноша Достоевский задумается о бедности, о материальной зависимости, о той роли, которую играет благосостояние человека в его социальной жизни. Макар Девушкин в «Бедных людях» неспроста скажет: *«...бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши!»* Всё детство наблюдал Фёдор Достоевский из окошка флигеля за хворыми и убогими, теми, кому нужна помощь. И первое своё крупное произведение не случайно, конечно, назвал «Бедные люди».

В 1839 году отца не станет — по официальной версии из-за апоплексического удара, по слухам — от рук крепостных крестьян, мстящих за жестокое к ним отношение. Фёдор Достоевский не приедет на похороны из Петербурга, но до последнего, может быть, часа будет спрашивать себя о судьбе отца, будет вновь и вновь возвращаться к отцовскому суровому образу... Тема отцовства, отношения родителей и детей, станет одной из главных в творческом наследии великого писателя.

...Темно на Божедомке поздней осенью, сирю в Марьиной роще. Облетели почти

совсем берёзы и трепещущие на ветру осины. Не шепчет ли здесь разве каждый истлевший листок: Достоевский тяжёлый, мрачный художник, он всегда говорит о тёмных углах действительности и о непроницаемых закоулках сознания человеческого. Действие его сумеречных книг не в глухие ли отсыревшие стены упирается, не топчется разве у закрытых дверей, не обретает ли форму болезненных сновидений? Главное у Достоевского — беспросветность бытия.

Первый приступ эпилепсии случился у Достоевского, по семейному преданию, когда о смерти отца узнал он. «Эй, Федя, уймись... — звучал в ушах строгий отцовский голос, — *будь тебе под красной шапкой!*»

Сумерки сгущаются, и всё непрогляднее, всё глуше становится жизнь. Хочется закрыть глаза.

Аткроешь — станет больно от света и блеска!

— Блестят, великолепно блестят! — восторженно шепчет Достоевский на каком-то литературном вечере.

Не о повестях и рассказах, не о стихотворных строчках, а... о серьгах жены, Анны Григорьевны. Фёдор Михайлович выбрал для неё самые красивые, самые яркие, и теперь наслаждался, как играют они светом, как замечательно смотрятся. «*Но особенно Фёдор Михайлович был доволен, — вспоминала Анна Григорьевна, — когда <...> ему удалось подарить мне серьги с бриллиантами, по одному камню в каждой. Стоили они около двухсот рублей, и по поводу покупки их муж советовался с знатоком драгоценных вещей П. Ф. Пантелеевым. <...> Выяснилось, что при множестве огней игра моих камней оказалась хорошею, и муж был этим доволен как дитя...»*

Достоевский привозит любимой жене резной веер слоновой кости, бинокль голубой эмали, янтарную парюру (брошь, серьги, браслет). «*Эти вещи, — рассказывала Анна Григорьевна, — он долго выбирал, присматривался и приценивался к ним <...>. Зная, как мужу было приятно дарить мне, я всегда, получая подарки, выказывала большую радость, хотя иногда в душе была огорчена тем, что покупал он не столько полезные, сколько изящные вещи. Помню, например, как мне было жаль, когда Фёдор Михайлович однажды, получив от Каткова*

деньги, купил в лучшем московском магазине дюжину сорочек, по двенадцати рублей штука. Конечно, я приняла подарок в виде-мощном восхищении, но в душе пожалела генет, так как белья у меня было достаточно, а на затраченную сумму можно было бы купить многое мне необходимое».

А вот другой сияющий всполох. Рождество 1872-го. Фёдор Михайлович живёт в Петербурге на Серпуховской. Рядом — жена и дети, Федюша и Любовь. Благодаря терпению и такту Анны Григорьевны кредиторы и издатели оставили писателя на какое-то время в покое. В этом году обретут Достоевские милый сердцу дом в Старой Руссе, завершится работа над «Бесами», выматывавшая писателя последнее время, будут напечатаны первые главы романа в «Русском вестнике»... Но это всё позже, позже. Сегодня же, в этот чудесный Сочельник, важнейшее для Фёдора Михайловича — устройство рождественского праздника. И какой же, спрашивается, праздник без ёлки и подарков? Достоевский сам украшает большую и ветвистую ёлку, приманивает гирлянды и звезду на верхушку, вставая для этого на табурет. Причём всё это делается от детей в тайне, чтобы не испортить эффекта неожиданности. Вскоре, когда ёлка уже сияет разноцветными огнями, в зал входят Федюша и Любовь. Дети глазам своим не верят! И радуются подаркам — куклам, кукольной посуде, яркому барабану... Но пуще всего — волшебным проблескивающим саночкам с впряжёнными в них лубочными лошадками.

Мы привыкли представлять Фёдора Михайловича Достоевского — классика отечественной словесности — застёгнутым на все пуговицы. Неважно — синий ли суконный жакет на нём, чёрный сюртук, запахнутые ли, как на знаменитом перовском портрете, полы пиджака и крепко-накрепко сцепленные пальцы.

Писатель и мемуарист В. В. Тимофеева запечатлела автора «великого пятикнижия»¹ таким: «*Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый <...> человек, с мрачным изнурённым лицом, покрытым, как сеткой,*

¹ Пять великих романов: «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

какими-то необыкновенно выразительными тенями <...>. Он весь был точно замкнут на ключ <...>». Но, оказывается, есть и другой Достоевский — тот, у которого глаза горят не от отчаянной карточной игры, не от возможности заглянуть в бездну и открыть мирозданческую тайну, а от стремления подарить радость родным людям.

Великая мысль о слезинке ребёнка, перевешивающей всё на весах мироздания, не отсюда ли, не из отческой ли сердечной любви к семье, к детям? Красота, которой должно спасти мир, разве не из светлого она семейного круга? Свет и блеск Достоевского не разделены, не противопоставлены, а едины. Потому что от одного источника, любовью зовущегося...

Какие замечательные санки, как зовут в весёлую дорогу лубочные гнедые!..

...На саях приходится добираться до последнего в жизни пристанища ссыльнопоселенцу Петрашевскому. Шушенское, Кебеж... Местные жители то просят *чудака-иновца* составить и подать местным властям прошение (Михаил Васильевич всегда идёт навстречу, за что власти косятся на него ещё больше), то смеются над ним как над умалишённым, мальчишки бросают снежки. Он пытается учительствовать, завести хоть какие-то знакомства в Красноярске, но за «вольные разговоры» его ссылают ещё дальше. На этот раз — в Бельское. Петрашевский — известный фронт, любивший шокировать светскую публику: то четырёхугольный цилиндр закажет себе, то в женском платье промелькнёт... Но быстро, ах как быстро, его ентовая шуба обратилась в обноски, порвалась, истлела... Михаил Васильевич — ещё недавно блистательный переводчик при министерстве иностранных дел, полиглот, человек европейски образованный — не выдерживает тяжкого переезда и умирает холодной снежной зимой 1866 года. Его хоронят только после того, как через много недель с большой земли смог доехать до заброшенной сибирской деревеньки доктор для «освидетельствования смерти политического ссыльного». Всё это время тело Петрашевского находится в «холоднике». В протоколе доктор напишет: *«Смерть наступила от сосудистой апоплексии вследствие органических пороков сердца»*. Петрашевского не отпевают, на похоронах —

ни одного родного человека. В России ни одна газета не упоминает об этом событии. И только в далёком Лондоне герценовский «Колокол» звучит тревожным набатом: *«Михаил Васильевич Петрашевский скоропостижно скончался 6 декабря 1866 года, в селе Бельском, Енисейского округа, 45-и лет. Да сохранит потомство память человека, погибшего ради русской свободы жертвой правительственных гонений»*. В эти же дни, в декабре 1866-го, Ф. М. Достоевский завершает работу над романом «Преступление и наказание».

Пятницы Петрашевцев, громкое дело 1849 года... На разных квартирах, в том числе в Петербурге и Коломне, собирались вольно думающие люди и обсуждали вопросы политики, философии, истории. Говорили о составлении особого словаря, об отмене крепостного права. Преподаватели, чиновники, разночинцы, студенты, поэты. Дмитрий Ашхарумов, Алексей Плещеев, Николай Спешнев, Сергей Дуров, Александр Пальм, Феликс Толь, Константин Дебу... Безобидные, по сути дела, встречи вызвали неожиданно жестокую реакцию властей. Пётр Антонелли, внедрённый в группу петрашевцев для наблюдения, постарался — представил деятельность кружка как опасную для государственного устройства. «Вольнодумство», «гнусный либерализм»... И полторы тысячи серебром — награда... Всего арестовано было около сорока человек, двадцать одного приговорили к расстрелу. Среди приговорённых — Фёдор Достоевский. Приговор гласил: «Отставного инженер-поручика Достоевского... подвергнуть смертной казни расстрелянием». Среди «преступлений» Достоевского — «недонесение преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». В списке приговорённых Николай I выделил Достоевского особо: рядом с его именем была сделана подчёркнутая красным карандашом пометка: «Один из важнейших». На Достоевского должны надеть белый балахон с длинными рукавами... Сначала слышится смех Петрашевского — ему смешна абсурдность ситуации, нелепость обвинения, приговора, «предсмертного наряда» и всего этого показательного действия. Затем раздаётся команда: «К заряду!» По воспоминаниям очевидцев, на Семёновском плацу Достоевский попрощался с Николаем Спешневым,



*Ф. М. Достоевский. Фото 1862 года.
Фотография Э. Бондоно.*

с которым он стоял рядом. «*Nous serons avec le Christ*» («Мы будем вместе со Христом», фр.) — прошептал он ему. «*Un peu de poussière*» («Горстью праха», фр.) — отвечал Спешнев.

Как известно, в последнее мгновение смертный приговор был заменён разными сроками каторжных работ.

В год рождения Достоевского на Семёновском плацу ещё не казнили, но давший название историческому месту сам Семёновский полк, овеянный героической славой (П. А. Румянцев и А. В. Суворов служили в нём когда-то, Я. А. Потёмкин командовал им), был уже расформирован и репрессирован: новые аракчеевские порядки, с их муштрой и унижением человеческого достоинства, оказались сильнее славы легендарных героев недавно отшумевшей Отечественной. Осень 1821-го стала внутренне переломным историческим рубежом для России: обрело силу «Южное общество»... «*Семь раз отмерь, один раз отрежь*» — любимая поговорка Александра I, императора просвещённого и привыкшего тщательно обдумывать свои решения, — потеряла гуманный подтекст. Великий князь Николай Павлович, которому суждено будет вскоре встать на место Александра и остаться в памяти людей Николаем Палкиным, уже столкнулся в Европе с революционными настроениями (события в Пьемонте) и воспринял как угрозу стране беспорядки в элитном некогда полку. Разлетелись бравые гвардейцы по самым дальним гарнизонам. Среди них один из будущих лидеров декабристов Сергей Муравьев-Апостол. Так что Семёновский плац стал местом жестокой инсценировки весьма и весьма неслаучаю...

Ожидание казни навсегда изменило Достоевского, перевернуло его внутренний мир. Не раз будет возвращаться писатель к трагическим мгновениям. Осмысливать и переосмысливать случившееся. В монологе князя Мышкина события 22 декабря 1849 года получили особое, духовно-нравственное освещение: «*Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал гольево посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те*

две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чём он будет думать: ему всё хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живёт, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольётся с ними...»

Как это важно для мира Достоевского: на смертельном рубеже думать светло и ясно, не осуждать своих палачей, не тратить времени на озлобление, а искать и находить горный свет, думать о жизни вечной.

В «Братьях Карамазовых» свет веры, любви и надежды оказывается сильнее тьмы: «*День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи <...>*»

В Омском остроге солнышко — редкий гость. И в сараюшке на пустынном берегу Иртыша — не частый. Разве только пробьются когда косые лучи сквозь щели в ветхой крыше... Здесь каторжник Достоевский вместе с другими «алебастровцами» обжигал алебастр, загружал его в ящики и специальной колотушкой долбил, мельчил, толоч. В другой день изготавливал писатель две с половиной сотни кирпичей. После такой работы несколько раз попадал он в омский военный госпиталь, за пределы крепости — там, по сравнению с острогом, жить ещё можно было. Фёдор Михайлович так описывал жизнь на каторге: «*По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен*». Обритая голова, двухцветная куртка с жёлтым тузом на спине, кандалы на ногах — вот каторжный облик Достоевского. С 23 января 1850 года по 23 января 1854 года. А далее — служба рядовым в Сибирском 7-м линейном батальоне, что стоял в Семипалатинске. Как в воду отец-то глядел...

В самом начале каторжного пути провёл Фёдор Михайлович двенадцать дней в пересыльной тюрьме. Тобольский приказ о ссыльных (занимался сей орган административным распределением сосланных в Сибирь на каторжные работы, учётом документов-бумаг, выдачей одежды, информацией о заболевших и т. д.) уже всюду вёл свой каторжно-бюрократический учёт: отослано было донесение за номером 35 генералу главного штаба Его Императорского Величества господину Игнатьеву, где подтверждалось, что 9 января Сергея Дурова и Фёдора Достоевского, следовавших в каторжную работу в крепостях, доставили в Тобольск. За всеми этими номерами, донесениями, бумагами, за ледяным лязгом открытых жандармских кибиток, за решётками пересыльной видна и слышна была только ночь — вьюжная, нескончаемая, без намёка на просвет. Да и как, спрашивается, в чём или в ком отыскать в таких условиях хотя бы тусклый отблеск надежды, тепла хотя бы крупицу?

И тут происходит — иначе и не назовёшь — чудо! Наталья Дмитриевна Фонвизина и Прасковья Егоровна Анненкова, жёны декабристов, договорились о встрече с петрашевцами и подарили им по Евангелию.

Достоевский так вспоминал в «Дневнике писателя»: «... в Тобольске, когда мы в ожидании гальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жёны декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чём неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осуждённые мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал её много и читал другим».

Помните переломный, может быть, момент в «Преступлении и наказании», когда Раскольников вдруг берёт в руки Евангелие и просит почитать Соню. Достоевский в

точности описывает тот просиявший спасением дар, сохранённый им до конца дней:

«На комод лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперёд, замечал её; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплёте.

— *Это откуда?* — крикнул он ей через комнату. Она стояла всё на том же месте, в трёх шагах от стола.

— *Мне принесли,* — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

— *Кто принёс?*

— *Лизавета принесла, я просила.*

“Лизавета! Странно!” — подумал он. Всё у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждой минутой. Он перенёс книгу к свече и стал перелистывать.

— *Где тут про Лазаря?* — спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

— *Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня».*

Удивительный парадокс: Достоевский — чьи герои так часто ютятся в сырых петербургских углах, зябнут, вдыхая нездоровый, промозглый, осенний воздух, — сам никогда не бывает холоден. Он пишет горячо, не просчитывая «сюжетные ходы», а увлекаясь идеей, следуя за ней в неизвестность и увлекая читателя. И получается, что прочитать его наследие, пройти раз и навсегда, отложив потом в сторону, невозможно. Всякий подход к нему обернётся новым откровением и современными параллелями. Достоевского, конечно же, одолевают кредиторы, Фёдор Михайлович соглашается на кабальные договорённости с издателями и журналами, но пишет он потому, в первую очередь, что по-иному не может. Тот же «Дневник писателя», выходящий периодически и ожидаемый читающей публикой, — чем не ведение блога? Достоевский не может не делиться мыслями вслух, не отзываться на вызовы времени...

Уж лучше пятнадцать лет в тюрьме, но с бумагой писчей, со стилем, чем четыре года без возможности творить. Как страдал Фёдор Михайлович от того, что нельзя было писать книги! Правда, через десятилетия,

он посмотрел на годы каторги... благодарно: «...меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался». Да ещё сколько истинно «народных типов» вынес оттуда, из Тобольска и Омска...

Но вот позади и арестантская рота № 55, и Семипалатинск... 17 апреля 1857 года, по высочайшему — Александра II — указу, права дворянства возвращаются декабристам и петрашевцам. Бунтари и смутьяны былых времён возвращаются в русское общество, порядком изменившееся. Шутка ли — вот-вот, всего через каких-то четыре года, будет отменено крепостное право. И вряд ли кто-то поверил бы тогда, после того, как «мрачное семилетие» сменилось историческим просветом, что меньше чем через десятилетие трагически и предательски прозвучит выстрел Дмитрия Каракозова.

А Достоевскому — могло ли повериться?

В конце июня писателю выдаётся временный билет, он держит путь в Тверь, а уже в конце декабря приезжает в Петербург.

Совсем новым человеком.

В «Бесах» что ни мысль — то загадка. Что ни образ — то предзнаменование. Названье романа, вызванное к жизни евангельскими аллюзиями и гениальной пушкинской строкой, объединяет-охватывает всех сбившихся с пути, заблудших, плутающих во тьме идейного морока:

*Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.*

После «Униженных и оскорблённых», «Преступления и наказания», «Идиота» от Достоевского ждали романа-прорыва, романа-свершения, ждали, что открыта будет новая истина. Ещё бы! Ведь прошедший каторгу Фёдор Михайлович, совсем недавно давший литературе образы Раскольникова и князя Мышкина, поднявший тему преступления и раскаяния на небывалый доселе уровень художественного звучания, взял, по слухам, за основу недавние трагические события, всколыхнувшие общественную жизнь в России, — печально известное нечаевское дело (убийство членами революционного кружка студента Иванова, решившего порвать с товарищами). И уж Достоевский-то, с его умением

обобщать до космических масштабов злободневность, подарит публике и критике нечто особенное.

Но первые же главы романа, помещённые на страницах журнала «Русский вестник» в январе 1871 года, вызвали яростную критику представителей как левого, так и правого лагеря. Демократически мыслящий искромётный поэт-сатирик Дмитрий Минаев писал: «Каждая глава <...> есть новая мерзость, новый ужас <...>; к счастью для читателей, эти ужасы отличаются таким пересолом, таким уродованием действительности, что под конец становятся смешны по своей карикатурности». Несколько позднее религиозный философ Константин Леонтьев выражал не меньшее, а может быть и большее разочарование: «Эпиграфом к роману "Бесы" выбран евангельский рассказ об исцелении бесноватого, который, "исцелившись, сел у ног Христа", а бесы, бывшие в нём, вошли в свиней, кинувшихся в море... "Бесноватый" олицетворяет в этом случае у г. Достоевского Россию, которая тогда исцелится от всех недугов своих, лично нравственных и общественных, когда станет более христианскою по духу своему нацией (разумеется, в лице своих образованных представителей). Но и это весьма неясно... Какое же именно христианство спасет будущую Россию? На это мы в "Бесах" не найдём и тени ответа!»

В одном из писем Фёдор Михайлович, делясь пониманием задуманного романа, сформулировал существо «Бесов» так: «...вроде "Преступления и наказания", но ещё ближе, ещё насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса». А какой вопрос самый важный, если не о сжигающем страну изнутри огне революционных идей? Л. П. Гроссман в замечательной книге о Достоевском подробно рисует картину внутренней подготовки романиста к одному из главных полотен его жизни: «В материалах и сведениях у него нет недостатка. Он видел главные штабы русской революции в Петербурге в 1848 году и в Женеве в 1868. Он лично знал и видел "отцов и детей" российской революции в Коломне и на Каруже, на пятницах Петрашевского <...>. Он знал и видел всю эту молодую женеvскую эмиграцию, в чью среду через несколько месяцев прибыл Нечаев заключать союз с патриархом Бакуниным для предания великой России



В. Г. Перов.

*Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского. 1872 год.
Государственная Третьяковская галерея.*

разгрому и всеожжению. И когда Достоевский узнал об этих "женевских директивах" нечаевского заговора, он почувствовал, что перед ним тема, исключительно близкая и непосредственно знакомая. Он тотчас же решает возвести факты текущей политической борьбы в символику своего романа, фантастически сочетая свои впечатления от газетной хроники с раздумьями над текстами евангелиста. И, приступая к фреске своего подпольного ада, он решается развернуть во всю ширь огромную портретную галерею деятелей двух революционных поколений, сливая в лице своих ставрогинских и верховенских крупнейшие фигуры петрашевцев и нечаевцев».

Полицейская кибитка да «вёрсты полосаты» сибирских дорог, путь по зимней, ночной России — последнее, что объединяло Достоевского с Петрашевским. Не просто однодесятников, а ровесников-одногодок. Дороги их разошлись навсегда, и тревожная боль этого неизбежного расхождения то и дело проступает не только в «Бесах», но и в других шедеврах «пятикнижия». «Бесы» — роман-прощание. С утопическими иллюзиями безвозвратно ушедшей молодости, с призраком, так сказать, социальной мечтательности, за цивильно-изящной ширмой которой всегда найдётся местечко незаметным до поры людям действия, готовым решиться (ради общего блага, разумеется, ради светлого будущего!) на поступок. Страшный, несправедливый, неискупный поступок...

«— Вы и убили-с...».

Шёпот Порфирия Петровича звучит громче набата, сильнее самой самозабвенной проповеди, действеннее любой теории дел. И потрясающе: для Раскольникова обвинительные слова сродни откровению, он точно бы сам впервые понимает, что сделал, и в ужасе чувствует всю глубину и неизбывность своего падения. И в «Бесах» художественно-философское, морально-нравственное, психологическое, духовное, социальное осмысление природы убийства становится ещё ближе к действительности. Достоевский решает идти по неостывшим следам недавно прошумевшего дела, и вовсе не интересно ему, чего ждёт от него «прогрессивная» или, напротив, «охранительная» часть общества. У Фёдора Михайловича свой взгляд на прогресс, свои охранные грамоты.

Глава «У Тихона», включающая самый напряжённо-противоречивый и болезненно-драматичный монолог в отечественной словесности, то есть исповедь Ставрогина, так и не была при жизни Фёдора Михайловича напечатана. Даже смелый публицист и великолепный знаток литературы редактор «Русского вестника» Михаил Катков не решился. После, через долгие годы, узнает мир о ставрогинских метаниях. И прояснится, наконец, так и не оценённый современниками сверхзамысел Достоевского: расположить за внешним повествованием внутренний иконографический сюжет. Тихон, подобно своему прототипу чудотворцу Тихону Задонскому (1724—1783), полон внутренним светом. Он чувствует драму Ставрогина и предчувствует её скорую развязку в Скворешниках: «— Я вижу... я вижу как наяву, — воскликнул Тихон пронзающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести, — что никогда вы, бедный, погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту!»

Не просто две эпохи сводит Достоевский в этом важнейшем для его творческого мира нравственно-философском и психологическом отступе, а два света: внешний, от блистательной маски исходящий, холодный, — и внутренний, от души и сердца теплящийся. Благодаря Тихону самый спорный до сих пор роман Достоевского, с его атмосферой сгущающейся осенней мглы, запоминается и светлыми страницами тоже, даёт надежду.

Ставрогин — фигура завораживающая, магически притягательная. От него как бы исходит свет, — но только затмённый, отстранённо-холодный. Его стихия — поздняя ненастная городская осень, с её пронизывающим ветром, слякотью, одиночеством. Николай Ставрогин молод, он, безусловно, умен, обаятелен, красив. Но Достоевский оговаривается, давая подсказку читателю: «...прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно "походило на маску", как выражались некоторые <...>». В образе Ставрогина сходятся черты и Николая Спешнева, и Александра Герцена, и даже бакунинские интонации угадываются... Собирабельная получилась фигура, масштабная, исторически характерологическая. Борец-одиночка, чьи стройные теоретические раскладки разбиваются в пух и прах

действительностью, мятущаяся душа, так и не нашедшая ни прощения, ни покоя.

Тернистый путь, пройденный Фёдором Михайловичем, личный опыт ошибок и разочарований, напряжённое вглядывание в историческое будущее России — всё это предопределило явление миру ещё одного образа, на сей раз из когорты предводителей бесовского легиона. Типажа, возможно, самого главного в книгах Достоевского. самого живучего. И самого опасного.

...Скорые приближающиеся шаги звучат всё отчётливее и отчётливее, Достоевский называет их «маленькими», «чрезвычайно частыми»: «...кто-то как будто катился, и вдруг влетел в гостиную». Ждали все Николая Ставрогина, а явился не он — другой. Вот уж и правда, как чёрт из табакерки. И какой психологически тонкий портрет: клочковатые, едва обозначающиеся усы и борода; сам весь «как будто сутуловатый и мешковатый», но вовсе не такой, а скорее «развязный»; черты лица мелкие, «носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие», а лоб «высок и узок»; про глаза — зеркало души — не говорится, упоминается только, что «глаз вострый». Такой он весь заострённый, колкий, неуловимый. Вроде и незначителен в обществе, а все находят его манеры «весьма приличными». И главное — как он говорит: «скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно», «слова его сыплются, как ровные, крупные зёрнушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам». И когда люди его слушают, то сначала зачаровываются, а после устают, и кажется им, что его язык «какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий». Язык змея-искусителя, проще говоря...

Перед нами — Пётр Верховенский собственной персоной. Хотя и персоной трудно назвать его, ведь главный дар Верховенского-младшего, как сам он признаётся, «дар бездарности». Безликий, бесцветный, бесформенный. Это вам не Ставрогин, готовый за свои пусть и безумные теории жизнь отдать, выворачивающий себя наизнанку, сгорающий, точно листок осенний осинный в костре. Не идеалист сороковых годов Степан Трофимович — бессребреник, посвятивший себя благородному учительству и поиску волшебного цветка истины, горько понявший на склоне лет, что поколение детей-радикалов приспособо-

вало к мимобежным политическим нуждам вечные истины, которые он растолковывал им когда-то. Нет, этот — другого замеса. Петру Верховенскому нужна истина? Его интересует, как Раскольников, возможность поверить теорию жизнью, чтобы ответить на «проклятые» вопросы? Или сияние Золотого тельца не даёт ему покоя? Вряд ли... Выгода выгодой, впрочем. Но герой, чьи шаги всегда приближаются, чей голос всегда готов отозваться эхом в ушах и девятнадцатого, и двадцатого, и двадцать первого века, предпочитает иное — власть, пусть и мнимую, над умами людей, в особенности молодых, возможность загребать жар чужими руками. Он не сочтётся с жизнью, не пойдёт на эшафот — для того есть другие, его слушавшие, он аккуратно подготовит почву, чтобы кровь пролилась, чтобы зависящие от него люди кровью были повязаны, подберёт и орудие, подскажет и способ... И если даже сам обагрит руки кровью, то останется в безопасности: найдёт верные слова, убеждающие других взять на себя вину ради благого дела. Выдумать сплетню, исподтишка посорить друзей, оклеветать кого-то, начать смуту — это его, в этом он дока. И непревзойдённый мастер провокаций. Как сам рассказывает Ставрогину: *«Мы провозгласим разрушение... <...> Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... Тут каждая шелудивая "кучка" пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да ещё за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнётся смута! Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...»*

А коли не удастся смута — ничего: Петруша наш выкрутится, откупится, скроется. Как и происходит в романе «Бесы», где он умело подталкивает членов своего тайного кружка на убийство Шатова, сам нажимает на курок и при этом выходит сухим из воды.

Какими холодостойкими и огнеупорными оказались они, «зёрнушки» петрушиных речей! Как далеко видел Достоевский, обманувшийся когда-то в молодости призрачными «легендами» и нашедший в себе силы стать «другим человеком»! Более того — решившийся показать России и миру тип Петра Верховенского, непотопляемого, неизживаемого.

За фигурой Петруши виден Нечаев? Вероятно. Но Нечаев — боец, не лишённый



*Ф. М. Достоевский. 9 июня 1880 года.
Фотография М. М. Панова.*

упоения идей, а значит — оставшийся в прошлом. Тогда как узнаваемые черты Петра Верховенского ожили во многих «героях» не такого уж и далёкого будущего. В тех, кому уже не нужно было скрываться, в тех, кто вышел из тени, кто стал у руля страны. Мы все помним, какую страшную цену пришлось заплатить России за торжество смуты в начале двадцатого. И все понимаем, читая «Бесов»: от сладкоголосых речей и прикрываемых благими намерениями поступков, подталкивающих к разрушению, к насилию над человеком, к гибели души, от новых Верховенских в многообразных обличьях предостерегал великий писатель не только современников, но и нас, сегодняшних.

Помним ли? Понимаем?

...В Петропавловской крепости, в каземате № 5, всегда темно. Сергея Нечаева, после попытки побега, уже большого цингой, держат здесь, под «особым наблюдением». В самом конце жизни он пишет последнее письмо Александру II, где есть такие слова: *«Я не ожидал от нового правительства облегчения своей участи, не удивлюсь, если это письмо ещё более ухудшит моё положение. Страдавший узников Бастилии только тогда, когда сам попал в государственную тюрьму <...> пишу кровью, ногтем».*

Что выберешь ты, гордый человек, дьявольское или Божественное, по какой дороге пойдёшь ты, Россия?

Сбились мы. Что делать нам!

Фёдор Михайлович привык работать ночью, при двух свечах, когда домашние спят. Улицы Петербурга, переплетающиеся и неуловимым касанием обозначающиеся в романах Достоевского, как светотени, тоже притихли, замерли: Разъезжая, Загородный проспект, Чернышёв переулок, Звенигородская, Литейный, Надеждинская, Столярный переулок, Малая Мещанская, дом Ширмера, Фонтанка, Тучков мост над малой Невой... И не разберёшь, где жили и хаживали герои книг, где — сам писатель. Петербург Достоевского призрачен, он есть и его как бы нет, он реальность и сон одновременно. Пугающий? Отталкивающий? Пророческий?

Оттуда, с ночных петербургских улиц, доносятся, обрываемые ветром, голоса героев Достоевского:

— *Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!*

— *Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.*

— *Скажите, вы не намерены бросить игру?..*

— *...вам обидно и вы злитесь — вот вам разгадка вашего поколения.*

— *Разве можно жить с фамилией Фергюссон?*

— *...только тысчоночка какая-нибудь поиспортилась, а остальные все целы.*

— *Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его!*

Фёдор Михайлович улыбается: вспомнилось, как в Столярный переулок, в дом Алонкина, квартиру 13 пришла на работу молодая стенографистка — Анна Сниткина. И как начала спориться работа над спасительным «Игроком». И как он неловко пошутил, прощаясь: *«Я был рад, что мне предложили девицу-стенографа, а не мужчину. Да потому, что мужчина уж наверно бы запил, а вы, я надеюсь, не запьёте».*

И как один за другим создавались романы.

И как вскоре уже шептал: *«Мне Бог тебя вручил...»*

И писал, тяготясь разлукой: *«... свет ты мой...»*

...Июнь 1880 года. Сияющий колонный зал в здании Благородного собрания. Только что завершена его Пушкинская речь. Западники и славянофилы, радикалы и почвенники обнимают друг друга под впечатлением от услышанного. Люди плачут, люди снова и снова зовут его на сцену, лица у всех просветлены, радостны. Чуть позднее Фёдор Михайлович напишет Анне Григорьевне: *«Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! Что петербургские успехи мои, ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загрела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланывался, делал жесты, прося дать мне читать, — ничто не помогало <...>. Я читал громко, с огнём. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом... Когда я провозгласил о всемирном единении людей, то зала была как в истерике <...>*

люди незнакомые между собой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками; вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились <...>. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. <...> Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегла горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило».

Достоевский говорил: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и бюджет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей <...>. Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего <...>. «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено <...>».

О Европе вёл речь Достоевский? Или о России? С эпохи Возрождения и эры Просвещения человек в европейской культуре провозглашался совершенным творением

природы. Русская национальная литература, как пишет выдающийся историк отечественной словесности Ю. В. Лебедев, «ощутила тревогу за судьбы человечества на том этапе его истории, когда <...> радикально настроенным мыслителям революционно-просветительского толка показалось, что силою “раскрепощённого” атеистического разума можно разом устранить царящее на земле общественное неравенство, несовершенство и зло». Всё творчество Достоевского проникнуто этой тревогой. Не лишён её и пафос Пушкинской речи, взывающей к «братству людей», к смирению гордыни холодного расчётливого ума... Такой, духовный путь, по великой мысли писателя, Россия могла выбрать и могла пойти по нему вместе с Европой. Звучит как утопия — пожалуй. Но как знать, не единственная ли то была возможность избежать стране и внутренних исторических трагедий, и внешних...

Вечером того же дня, почти без сил, Достоевский читает стихотворение Пушкина «Пророк». Голос его звучит глухо, он бледен, на лбу выступает пот. Писателю торжественно вручают лавровый венок. Он отказывается, но собравшиеся настаивают.

В речи о Пушкине сошлись все дороги Достоевского, все лучи его светозарных идей и философских обретений, вся его жизнь промелькнула в жарких, от сердца идущих словах. Достоевский не речь произнёс — дело свершил! И дело это во сто крат оказалось сильнее смутных нечаевских делишек. Речь Достоевского объединила Россию — хотя бы на недолгое время, хотя бы до появления ворчливых или даже едких заметок в прессе, до явившегося в умах современников сомнения: а может ли сердечная любовь и свет истинной веры сделать страну единой на годы, на века, навсегда? И как жить, примирившись? И как жить, только любя?

После Пушкинской речи, после чтения «Пророка» он не может заснуть. В поздний час он находит в себе силы приехать к только что возведённому памятнику Пушкина на Страстной площади, чтобы положить к ногам великого поэта свой лавровый венок.

Солнце русской литературы и сумевший заглянуть в тёмные уголки вселенского под- сознания гений встали по праву рядом.